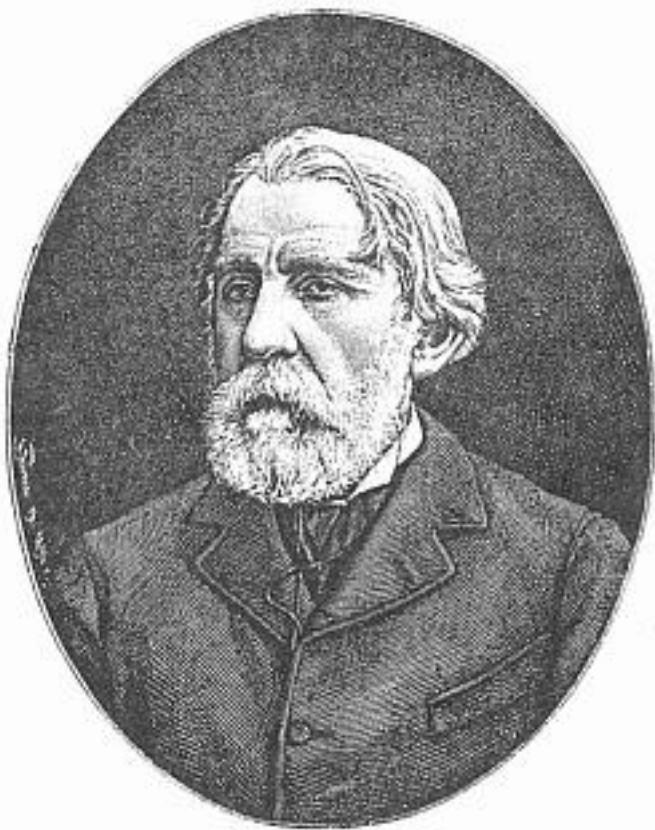




W. F. Fyfe.

Евгений Соловьев
И. С.Тургенев. Его жизнь и
литературная деятельность
Серия «Жизнь замечательных людей»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175424

Аннотация

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ И ГЛАВА I	4
ГЛАВА I. ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ	7
ГЛАВА II. ЗА ГРАНИЦЕЙ. – Сороковые годы. – Тургенев и Белинский	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Евгений Соловьев

И. С. Тургенев. Его жизнь и литературная деятельность

*Биографический очерк Евгения Соловьева.
С портретом Тургенева, гравированным в Петербурге К.
Адтом.*

ПРЕДИСЛОВИЕ И ГЛАВА I

Все в мире периодически или ритмично, как принято выражаться теперь: даже солнце греет неодинаково, и ему порою бывает надо отдохнуть, успокоиться, и оно отдыхает, покоится 10–12 лет, чтобы потом засверкать с необычною силой. В жизни каждого народа бывают эпохи напряжения сил и их упадка, эпохи равнодушия и ненависти, стремления к материальному благосостоянию и к громким, смелым делам. Законы этого ритма, этой периодичности таинственны и пока совершенно неизвестны науке, которая лишь присматривается к факту, не имея силы объяснить его. Но само явление периодичности, ритма – несомненно в жизни солнца или жизни искусства.

Есть эпохи возрождения, упадка и самые грустные – переходные, когда таланты не дают ничего положительного, цельного, а лишь обещают дать что-то, по-видимому важное, новое, хотя и неизвестно что. Таковую эпоху переживаем мы теперь. В другое время даже слабая сравнительно сила распускается полностью, поражает яркостью своих красок. Иногда все живет точно окутанное осенним туманом, иногда – при полном солнечном блеске...

В жизни искусства есть своя таинственная периодичность. Многие, начиная с Аристотеля, пытались пояснить ее законы понятными для нас причинами. Аристотель говорил: “Искусство достигает *наивысшего* блеска, когда человек *наиболее* хочет жить...” Но мы не можем принять этого объяснения: факты противоречат ему. Бокль утверждал, что расцвет искусства совпадает с расцветом *любопытности* вообще, т. е. науки. История несогласна и с ним. Спенсер предложил формулу, которая представляется наиболее вероятной. Он говорит, что область искусства – прошлое, воспоминание, что высочайшие образцы художественного творчества появляются лишь тогда, когда какая-нибудь историческая эпоха пережила себя и исчезает в вечность. Так было в Греции, Риме, Англии. Софокл, Фидий, Эврипид, Аристофан явились в конце доблестной эпохи эллинской жизни; в их время уже начался упадок нравов и даже полное их крушение. Римское искусство, кроме красноречия, все целиком принадлежит периоду империи и упраздненной республики. Шекспир, живя в XVII веке, вдохновлялся средневековыми феодальными нравами, Мильтон был последний из пуритан, итальянец Данте похоронил католицизм, Сервантес – рыцарство, Рабле – средневековые нравы и воспитание...

Не то же ли самое было и у нас? Крепостная дореформенная Русь в годы своей агонии выдвинула целую плеяду первоклассных талантов. Корни творческого вдохновения Гоголя, Тургенева, Гончарова, Толстого, Островского, Достоевского в той эпохе, когда “крепостное право стояло, как скала”. Крепостному праву можно было петь панегирики, воплощая его сущность в мистические и привлекательные формы кротости, смирения, всепрощения, как то делал Гоголь в “Переписке”, можно было бесстрастно анализировать его, как Гончаров, относиться к нему с горячей ненавистью, как Тургенев, – это безразлично: образы великих

художников выросли на почве, уже выслушавшей свой смертный приговор от истории, – на почве, уходящей из-под ног.

Истинно художественный образ – цельный образ, как Ричард III, Фальстаф, король Лир, Дон Кихот или наши Манилов, Собакевич, Коробочка. Но чтобы изобразить цельный образ, художник должен иметь его перед глазами. Это возможно лишь в эпоху, когда общественные отношения сложились в определенную форму и как бы застыли в ней, т. е. в эпоху умирающую. Такова мысль Спенсера. Слейте ее с мыслью Аристотеля и вы получите простую формулу, а именно: “Расцвет искусства совпадает с периодом, когда известная, определенно и резко сложившаяся историческая эпоха умирает, но уже занимается заря новой жизни, и человек особенно страстно и нетерпеливо хочет жить и беспокойно мечется, выискивая того неясного, таинственного нового, что сулит ему счастье...”

Таким периодом были 40-е годы.

“Крепостное право стояло, как скала”, – на бумаге; крепостные отношения трещали по всем швам – в действительности. На них нападали со всех сторон, их таранили, как осажденную, готовую сдаться, но внушительную благодаря своим могучим, покрытым серым мхом стенам крепость. *Наверху* происходили постоянные тайные заседания комитетов “по крестьянским делам”, и дело освобождения Николай I сознательно завещал своему преемнику. *Внизу* крепостные волновались и буянили беспрестанно: их то и дело приходилось укрощать штыками и пушками. В *середине* происходило что-то особенно странное и интересное. Там были помещики, стыдившиеся своих прав и доходов, были дворяне-интеллигенты, жившие за счет крестьян и дававшие себе клятву бороться против крепостничества, были люди, проникнутые идеями Леру, Жорж Санд, были и собиравшие оброк. Но всякому разумному человеку было неловко, стыдно, не по себе. По своей слабости он жил, как все, заключал договоры, прикупал и продавал деревни, т. е., в сущности, баб и мужиков, а между тем какой-то червь беспрестанно глодал его сердце, не давал ему покоя и возможности полностью насладиться жизнью. Этот червь – сознание своей неправоты, укор совести за рабство... “Хлеб, возделанный рабами, не шел им впрок”, – сказал про таких Некрасов.

Объясняя в своих литературных воспоминаниях причины, почему его тянуло за границу даже в годы юности, Тургенев говорит между прочим: “Могу сказать о себе, что лично я вполне ясно сознавал все невыгоды подобного отторжения от родной почвы, подобного насильственного перерыва всех связей и нитей, прикреплявших меня к тому быту, среди которого я вырос... но делать было нечего... Тот быт, та среда и особенно та полоса ее, к которой, если можно так выразиться, я принадлежал, полоса помещичья, крепостная – не представляла ничего такого, что могло бы удержать меня... Напротив, почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувство смущения, негодования – отвращения наконец... Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел; для этого у меня не доставало, вероятно, надлежащей выдержки, твердости характера. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя – враг этот был крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, – с чем я поклялся никогда не примиряться. Это была моя аннибаловская клятва, и не я один дал ее себе тогда. Я и на Запад ушел, чтобы лучше ее исполнить...”

Тургеневу было около двадцати лет, когда им овладело изображенное в предыдущих строках настроение и когда он дал свою аннибаловскую клятву. Он остался ей верен до конца, и измена ей означала бы не только измену теоретическим убеждениям, но чему-то гораздо большему и могущественному – своему сердцу, которое научилось любить и ненавидеть среди невыразимых ужасов разнузданного крепостничества. Детство, отрочество и юность Тургенева прошли в обстановке, читая описание которой, нельзя не почувствовать обиды, горечи, негодования. Рабство, лицемерно прикрывавшееся названием крепостной

зависимости, хладнокровное мучительство и издевательство над народом – вот что прежде всего видел Тургенев первые 20 лет своей жизни и что создало “Записки охотника”, самое любимое и вместе с тем самое человеческое произведение великого русского писателя.

Но то же самое, что и Тургенев, вынесли и выстрадали почти все его современники. Громадная историческая эпоха претерпевала предсмертную агонию. Новая неясная жизнь мерещилась всем и каждому. Напрасно цензура вытравляла “вольный дух” из поваренной книги; напрасно возводился в уголовное преступление рассказ о будочнике, ограбившем прохожего, что случилось с Герценом, – вольный дух парил в атмосфере, чуя занимавшуюся зарю новой жизни.

Люди сороковых годов выросли под влиянием мечтателя Шеллинга, великого по уму Гегеля, французских и немецких романтиков, народолюбивой Жорж Санд, идеалиста Леру, и эти же люди были вспоены и вскормлены крепостным трудом, их детство прошло среди сцен жестоких и страшных, их молодые сердца ежеминутно получали как бы ожоги раскаленным железом от того, что окружало их. Они рвались вперед. Умиравшее, судорожно корчившееся у их ног, искусственно поддерживаемое крепостное право возбуждало их ненависть и отвращение. Вместе с тем эта умиравшая жизнь, как издыхающий зверь, являлась перед ними во всей определенности и веками выработанной полноте. Ничего неясного, никаких штрихов, – повсюду черты, глубоко проведенные в камне. Это не была эпоха, про которую можно сказать: ни то ни се, ни черно ни бело; между добром и злом лежала целая пропасть, высокое и низкое не ходили под руку. Ясны были источники счастья, ясны источники страдания. Цельные характеры, цельные взгляды попадались на каждом шагу. Художественные натуры, кроме материала, бывшего у них перед глазами, имели в запасе предания многих поколений, – предания столь же ясные, сколь смутны предания разночинца.

Этим и страстным порывом к новой, лучшей жизни объясняется, быть может, появление такой плеяды талантов, которую мы видим на сцене в 40-е годы. Гоголь, Гончаров, Тургенев, Толстой, Достоевский, Островский – разве это не самые дорогие имена русской литературы?

Одному из них – Тургеневу – и посвящена наша биография.

ГЛАВА I. ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ

Род Тургеневых, хотя и не титулованный, принадлежит, однако, к стариннейшим и знатнейшим дворянским родам России. Он ведет свое, происхождение еще из Золотой Орды, от какого-то Мирзы, поступившего на службу к московским князьям. В XVII веке и раньше предки Тургенева постоянно занимали ответственные и видные места воевод в различных городах, в XVIII служили в коллегиях и армии или жили мирными помещиками в своих имениях средней полосы России. Сам Тургенев родился 28 октября 1818 года в дедовском доме, в Орле, где жили его отец, полковник гвардии Сергей Николаевич, и мать, Варвара Петровна, урожденная Лутовинова.



Сергей Николаевич Тургенев, отец писателя



Варвара Петровна Тургенева (Лутовинова), мать писателя

Отец Тургенева, кавалерийский офицер, к сорока годам жизни увидел себя в очень стесненных обстоятельствах. Карты, цыганки и шампанское истощили все его средства, и, по обычаю старого русского барства, он решился поправить свои дела выгодным браком. Это ему удалось при следующих, довольно романических обстоятельствах. Как ремонтёр гусарского полка он приехал однажды в имение будущей жены своей, Варвары Петровны Лутовиновой, для покупки лошадей на ее конном заводе. Молодая помещица приняла красивого офицера довольно любезно, причем предложила ему сыграть в карты, но с условием, чтобы тот, кто выиграет, сам, по своему желанию, назначил себе выигрыш. Выиграл Сергей Николаевич и, воспользовавшись случаем, тут же, по-гусарски, без дальних околичностей, просил руки своей партнерши. Та согласилась, и свадьба состоялась. Отец Тургенева вскоре вышел в отставку и вместе с женою поселился в ее громадном имении Спасском, где и зажил с причудливой, иногда безумной роскошью. Прибавив к этому, что Тургенев-отец был красивый и видный мужчина громадного роста, характера мягкого и переимчивого, хлебосол

и страстный охотник, муж хотя и не очень влюбленный в свою жену, но уважавший и даже побаивавшийся ее, – мы узнаем о нем все, что нам нужно.

Неизмеримо типичнее и интереснее мать Тургенева, Варвара Петровна, эта жестокая, властная женщина, многими чертами своего характера напоминающая знаменитую Салтыкову. Вот ее наружность: “Некрасивая собою, небольшого роста, немного сутуловатая, она имела длинный и вместе с тем широкий нос, с глубокими порами в коже, отчего он казался как бы изрытым оспой. Глаза у ней были черные, злые, неприятные, лицо смуглое, волосы черные как смоль; осанку она имела гордую, надменную, величавую, тяжелую; характер мстительный, властный, жестокий”. Разумеется, всем в доме заправляла она, а не муж, все трепетало от ее взгляда, все преклонялось перед ее упрямой, непреклонной волей. Сколько людей подвергла она истязаниям, скольких сослала в Сибирь, отдала в солдаты – сосчитать это трудно, но сцены разнузданного барского произвола разыгрывались в Спасском ежедневно. Любопытен обиход, который мать Тургенева завела у себя в имении. Многочисленную дворовую челядь она распределила на классы и чины, как при дворе; дворецкий назывался министром двора, и фамилию ему придали такую, какую носил тогдашний шеф жандармов – Бенкендорф; мальчик, заведовавший получением и отправкой писем, именовался “министром почт”. Этикет соблюдался строгий. Сама гордая владетельная помещица редко показывалась на глаза; без ее разрешения никто не смел с нею заговорить – иначе виновному грозило жестокое наказание.

“Является, например, кто-нибудь из ее “министров” с докладом, останавливается подобо-бострастно у дверей и терпеливо ждет разрешительного жеста повелительницы говорить; если Варвара Петровна минуты с две знака не подавала, значило, что доклад она выслушивать теперь не может, – и “министр” робко удалялся прочь. Приход почты возвещался обыкновенно большим колоколом, затем почтальоны с колокольчиками бегали по коридорам обширного дома, а “министр почт”, одетый по форме, преподносил на серебряном подносе газеты и письма, адресованные на имя госпожи...”

Она даже велела сделать себе особенные носилки со стеклянным колпаком в виде не то кареты, не то киота, так как ходить на открытом воздухе она не решалась, боясь свирепствовавшей в то время холерной заразы. Под этим колпаком она садилась в мягкое кресло, и ее носили по улицам особенно приставленные к этому крепостные люди”.

Несколько фактов прекрасно охарактеризуют нам жестокость матери Тургенева. Полагаю, всякий помнит прекрасный рассказ из “Записок охотника”, озаглавленный “Муму”. В этом рассказе передано истинное происшествие, и фигурирующая в нем помещица – сама Варвара Петровна. Сущность “Муму” сводится к следующему: немой мужик Герасим оторван, по прихоти барыни, от земли, которую он страстно любит, переведен в город и сделан дворником. Свыкшись с новым делом и примирившись с судьбою, Герасим на беду влюбляется в кроткую и безответную дворовую девушку Таню. Но барыня не дает своего согласия на брак и женит на Тане пьяницу сапожника Капитона, чтобы тот протрезвел. Герасим покоряется и здесь, но его доброе сердце ищет привязанности, и маленькая собачонка Муму становится лучшим и единственным его другом. Увы однако! – Муму не ладит с барыней, огрызается на ее ласки, раздражает ее своим лаем. Выходит приказ удалить Муму со двора. В отчаянии Герасим решается сам утопить свою любимицу и со слезами на глазах привязывает ей камень на шею и бросает в воду.

Карлейль называл этот рассказ самым трогательным из всех, которые ему приходилось читать. Он прав, пожалуй: благодаря чудному таланту Тургенева мы видим, как вместе с преданной собачонкой тонет в воде живое человеческое сердце, оскорбленное, униженное, измятое диким произволом.

Был у Варвары Петровны крепостной мальчик Порфирий Кудряшов, которого она отправила вместе с сыном за границу в качестве “казачка”. Заметив редкие способности

последнего, Тургенев много работал над его развитием. Овладев немецким языком и подготовившись к экзамену, Кудряшов поступил на медицинский факультет в один из германских университетов. Тургенев, зная властолюбие своей матери, у которой он напрасно и долго просил для Кудряшова вольную, убеждал его не возвращаться в Россию. Кудряшов, по-видимому, поддался советам своего молодого друга и дал слово остаться “у немцев”. Но каково же было удивление Тургенева, когда, простившись с Кудряшовым, он увидел его в конторе дилижансов с узелком и походной сумкой через плечо. “Ты это куда, Порфирий?” – “В Россию еду”. – “Как! Да ведь у тебя тут невеста!” – “Христос с нею, с невестой!.. Родина милее”. Кудряшов вернулся в Спасское, где барыня немедленно обратила его в безотлучного домашнего врача при своей особе. Перейдя на положение дворового, Кудряшов запил горькую... Так же поступила Варвара Петровна с другим талантливым крепостным. Она научила его живописи и затем заставила с утра до вечера рисовать для себя все те же и те же цветы. Бедняга спился.

Вот что ежедневно и ежеминутно видел около себя Тургенев в годы детства и юности. Обстановка была не такова, чтобы в ней могла развиваться сила характера, тем более что Тургенев получил, по-видимому, от отца свою мягкую и доброжелательную, лишенную энергии натуру; но виденного и слышанного в Спасском было вполне достаточно для воспитания в сердце ненависти и отвращения к крепостничеству.

В таком же почти отдалении от своей особы, как и дворню, и в такой же строгой дисциплине держала Варвара Петровна и трех своих сыновей: Николая, Ивана и Сергея. И для них она была прежде всего грозным судьей, безжалостно наказывала за всякую провинность. Тургенев впоследствии сам вспоминал, что драли его жестоко за всякие пустяки и чуть не каждый день.

– Да, в ежовых рукавицах держали меня в детстве, – говаривал он часто, – и матери моей я боялся как огня. Взыскивали с меня за все, точно с рекрута николаевской эпохи, и только раз, помню, одна моя выходка совершенно непостижимым образом прошла для меня безнаказанно. Сидело за столом большое общество, и зашел разговор, как зовут черта – Вельзевулом ли, Сатаной ли, или как-нибудь иначе. Все недоумевали. “А я знаю!” – вырвалось у меня. “Ты?” – строго посмотрев на меня, спросила мать. – “Я”. – “Как же? Говори!” – “Мем”. – “Мем? Почему же?” – “А когда в церкви изгоняют чорта, всегда говорят: “Вон – Мем!” (“вонлем”). Все рассмеялись, и я счастливо выбрался из беды.

Воспитание детей лежало главным образом на гувернерах, французах и немцах, которые выписывались прямо из-за границы в Спасское. Малообразованные, забитые, жалкие, сразу по приезде поступающие в разряд дворни, – они, разумеется, не могли оказывать особенного влияния на детей, и плюс их деятельности сводился лишь к обучению иностранным языкам. Тургенев любил вспоминать своих гувернеров и рассказывал про них немало анекдотов.

“Живо помню, – говорил он, например, – как чужак-немец приехал к нам с клеткою, в которой сидела самая простая, обыкновенная, даже не ученая ворона. Вся многочисленная дворня наша сбегалась посмотреть на диковинного немца, который возился над своей вороной; дворня недоумевала, для чего ее немец притащил, когда этого добра было не занимать-стать у нас на дворе.

Старик-дворовый, глядя на его суетню, флегматично заметил: “Ах ты, фуфлыга”, обращаясь, конечно, к немцу. Немец обиделся, задумался и на другой день за завтраком или обедом неожиданно обратился к отцу и, весьма плохо объясняясь по-русски, заявил ему, что он имеет спросить его по одному предмету.

– Позвольте у вас узнать, что значит слово “фуфлыга”? Меня вчера назвал ваш человек этим словом. – Отец, взглянув на тут же бывшего дворового и на меня с братом, догадался, в чем дело, улыбнулся и сказал:

– Это значит: живой и любезный господин.

Видимо, немец не очень-то поверил этому объяснению.

– А если бы вам сказали, – продолжал он, обращаясь к отцу моему, – “Ах, какой вы фуфлыга!” – вы бы не обиделись?

– Напротив, я принял бы это за комплимент.

Немец этот был чрезвычайно чувствителен. Начнет читать ученикам что-нибудь из Шиллера и всегда с первых же слов расплчется. Впрочем, жил он у нас недолго. Скоро узнали, что он не более как седельник, никакой педагогической подготовки до приезда к нам не имел, – и его уволили”.

В этом странном воспитании на русскую грамоту – а о литературе нечего уже и говорить – почти не обращали внимания. Читать и писать Тургенев научился неизвестно когда и даже неизвестно каким образом, по всей вероятности, от дворни. Один из дворовых ознакомил его и с родной литературой. Дело ознакомления происходило следующим образом, по рассказу самого Тургенева:

“Невозможно передать чувство, которое я испытывал, когда, улучив удобную минуту, Луний внезапно, словно сказочный пустынный или добрый дух, появлялся передо мною с увесистой книгой под мышкой и, украдкой кивая длинным кривым пальцем и таинственно подмигивая, указывал головой, бровями, плечами, всем телом на глубь и глушь сада, куда никто не мог проникнуть за нами и где невозможно было нас отыскать! И вот удалось нам уйти незамеченными; вот мы благополучно достигли одного из наших тайных местечек; вот мы сидим уже рядком, вот уже и книга медленно раскрывается, издавая резкий, для меня тогда неизъяснимо приятный запах плесени и старья! С каким трепетом, с каким волнением немотствующего ожидания гляжу я в лицо, в губы Пунина – в эти губы, из которых вот-вот польется сладостная речь. Раздаются наконец первые звуки чтения... Все вокруг исчезает... нет, не исчезает, а становится жалким, завлакивается дымкой, оставляя за собой одно лишь впечатление чего-то дружелюбного и покровительственного... Пунин преимущественно придерживался стихов, звонких, многошумных стихов: душу свою он готов был положить за них! Он не читал, он выкрикивал их торжественно, заливчато, раскатисто, в нос, как опьянелый, как иступленный, как Пифия! И еще вот какая за ним водилась привычка: сперва прожужжит стих тихо, вполголоса, как бы бормоча. Это он называл читать начерно, потом уже грянет тот же самый стих набело и вдруг вскочит, поднимет руки не то молитвенно, не то повелительно. Таким образом мы прочли с ним не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира (чем старше были стихи, тем больше они приходились Лунину по вкусу), но даже “Россияду” Хераскова! И, правду говоря, она, эта самая “Россияда”, меня в особенности восхитила. Там, между прочим, действует одна мужественная татарка, великанша-героиня; теперь я самое имя ее позабыл, а тогда у меня и руки, и ноги холодели, как только оно упоминалось! “Да! – говаривал, бывало, Пунин, значительно кивая головой. – Херасков – тот спуску не даст! Иной раз такой выдвинет стишок, – просто зашибет... Только держись!.. Ты его постигнуть желаешь, а уж он вот где! И трубит, трубит, аки кимвалон! Зато уж и имя ему дано! Одно слово – Херррасков!!” Ломоносова Пунин упрекал в слишком простом и вольном слоге, а к Державину относился почти враждебно, говоря, что он более царедворец, нежели поэт... В нашем доме не только не обращали никакого внимания на литературу и поэзию, но даже считали стихи, особенно русские стихи,

за нечто совсем непристойное и наглое; бабушка их даже не называла стихами, а кантами; всякий сочинитель кантов был, по ее мнению, либо пьяница горький, либо круглый дурак. Воспитанный в подобных понятиях, я неминусом должен был либо с гадливостью отвернуться от Пунина – он же к тому был неопрятен и неряшлив, что тоже оскорбляло мои барские привычки, – либо, увлеченный и побежденный им, последовать его примеру, заразиться его стихобесием. Оно так и случилось. Я тоже начал читать стихи или, как выражалась бабушка, воспевать канты... даже попытался сам нечто сочинить, а именно описание шарманки, в котором находились следующие два стишка:

Вот вертится толстый вал
И зубцами защелкал...

Лунин одобрил в этом описании некоторую звукоподражательность, но самый сюжет осудил как низкий и недостойный лирного бряцания...”

Иван Сергеевич с самого начала пользовался особым расположением матери. Впрочем, Варвара Петровна не такая была женщина, чтобы выказывать кому бы то ни было и перед кем бы то ни было свои нежные чувства. Ей казалось, что всякое проявление чувства должно было уменьшить ее власть, обаянием которой она упивалась до сладострастия и пользовалась которой со своего рода мстительным оттенком, – что легко объясняется унижениями, вынесенными ею в молодости. Будущего писателя пороли не меньше братьев, и особенная любовь матери к сыну проявилась лишь впоследствии.

За время своего детства Тургеневу пришлось вместе со своими родителями объехать Западную Европу, но эта поездка не оставила в нем никаких воспоминаний: он был слишком молод, всего четырех лет. Он помнил, впрочем, как однажды, сильно захворав, лежал в своей постельке при смерти и к нему приходили, чтобы снять с него мерку для гроба; помнил также, как в берлинском зверинце едва не попал в яму к медведям, но вовремя был спасен.

После заграничного путешествия, торжественного, роскошного, совершавшегося целым поездом в многочисленных экипажах, с десятками слуг, Тургеневы вернулись в Россию и опять поселились в Спасском, окруженные изобилием своего богатого дворянского гнезда. Жили весело, шумно, разнообразно. Гости не выезжали со двора; прекрасные лошади, своры собак, вереница покорных слуг, полная возможность предаваться легкомысленному ребяческому разврату, истощившему целые поколения старого барства, праздная, беспутная жизнь, создававшая в таком изобилии излюбленных тургеневских героев – лишних людей, – все это было к услугам каждого, и каждый жадно пользовался хмельным напитком грубых чувственных наслаждений. А что там, на конюшне, шли дикие истязания за не подогретую рюмку вина, за пережаренного цыпленка, за хмурый взгляд, что возле пруда плакал бедняга Герасим над своей собачонкой, что из села то и дело выезжали телеги с рекрутами или предназначенными на поселение, что в избах выпив бабы, чьи дочери распродавались для известных целей, – кому какое дело было до всего этого? И особенно замечательно, что в душе таких гордых, властных помещиков, как Варвара Петровна, царил совершенно олимпийское спокойствие. Ни тени даже минутного, не скажу раскаяния, а просто сомнения в своей правоте, хотя бы малейшей стыдливости. Сомнение, стыдливость, мука раскаяния появились позже и, накопившиеся поколениями, невообразимой тяжестью обрушились на менее крепкие нервы потомков и истерзали их. Лишние люди: Гамлеты Щигровского уезда, Рудины, Лаврецкие, Неждановы, Вершинины – все эти погибшие неудачники представляют собой страшную расплату, потребованную природой за грехи Тургеневых, Лутовиновых, Салтыковых. История справедлива, только не в нашем, человеческом, смысле, ибо для нее

не существует личности, но нет греха и неправды, которые рано или поздно не были бы отмщены сторицею. Думали ли феодальные бароны, обиравшие и истязавшие своих крепостных, что кровь их титулованных потомков дымящейся лужей будет стоять, не просыхая, на Гревской площади, вызывая крики кровожадного восторга? Думали ли помещики, издевавшиеся над своими крестьянами, что их любимые, балованные сыновья заплатят за это издевательство грозными муками совести, стыда, раскаяния, бедствиями и даже своею нравственной гибелью? Не думали – и если это оправдание, оправдаем и их!..

Но несомненно, что в воспитании, полученном Тургеневым в Спасском, были и свои хорошие стороны. Прежде всего заметим, что благодаря безалаберности, царившей в этом переполненном праздным посторонним народом доме, безалаберности необходимой и неизбежной, несмотря на “министров двора”, “министров почт”, – он наслаждался завидной свободой. Он то и дело оставался один и, пользуясь минутами одиночества, любил забираться в глубь роскошного Спасского сада.

“Сад этот кажется какой-то большой рощей, расположенной на плоской возвышенности, он по всем направлениям изрезан то длинными, прямыми, вечно тенистыми липовыми и березовыми аллеями, то узкими, прихотливо изгибающимися дорожками, полузакрытыми роскошными кустами. Старые сосны, ели и могучие дубы, разбросанные там и сям, разнообразят общее впечатление, а крутой спуск к пруду красиво заканчивает картину. Пруд этот, – как впоследствии припоминал сам Тургенев, – изобиловал рыбою. Здесь водились не только караси и пискари, но даже гольцы попадались, знаменитые, нынче совсем исчезнувшие. В голове этого пруда засел густой лозняк; дальше вверх, по обоим бокам густого косогора, шли сплошные кусты орешника, бузины, жимолости, терна, поросшие снизу вереском и зорей. Лишь кое-где между кустами выдавались крохотные полянки с изумрудно-золотой, шелковистой, тонкой травой, среди которой, забавно пестрея своими розовыми, лиловыми, палевыми шапочками, выглядывали приземистые сыроежки и светлыми пятнами загорались шарики “куриной слепоты”. Тут, – говорит поэт, – по веснам певали соловьи, свистали дрозды, куковали кукушки, тут и в летний зной стояла прохлада, – и я любил забиваться в эту глушь и чащу, где у меня были фаворитные, постоянные местечки, известные – так, по крайней мере, я воображал! – только мне одному!”

В этом же саду он, как помнит читатель, восхищался Херасковым вместе с Пуниным, а слушая пение соловьев или пробираясь в кустах жимолости, постепенно накапливал в душе живые впечатления природы. Симпатичные люди из дворни, вроде Пунина, внушали ему любовь к простому народу, а сцены помещичьего произвола давали материал для будущей сознательной ненависти к рабству и будущей аннибаловской клятвы!..

В 1830 году Тургенева отправили в Москву и отдали в частный пансион Вейденгаммера, так как вообще дворяне того времени старались избегать гимназий, где их дети могли встретиться с разночинцами. Но у Вейденгаммера Тургенев оставался недолго и вскоре перешел опять-таки на пансион директора Лазаревского института Краузе. Учителя здесь были порядочные, с особенной же любовью Тургенев вспоминал всегда о некоем Дубенском, преподавателе русской словесности. Дубенский был честный, преданный своему делу педагог старого закала, основательно знакомивший детей с литературой, воспитывавший их на сочинениях Карамзина, Батюшкова, Жуковского. Пушкина Дубенский недолго любил за его вольности и даже с негодованием относился к нему, находя, как и Пунин, что он воспекает вещи низкие и недостойные “лирного бряцания”. Вообще литературное образование Тургенева в пансионе у Краузе значительно продвинулось вперед; здесь же, между прочим, он изучил и английский язык, что вместе со знанием французского и немецкого составляло уже порядочный умственный капитал для того времени. Иностранные языки, кстати заметим, давались Тургеневу очень легко, и владел он ими в совершенстве. Одно время даже сильно были распространены слухи, что многие свои произведения он пишет предварительно по-фран-

цузски или по-немецки, а потом уже переводит на русский. Слухи эти Тургенев опроверг с негодованием.

Из пансиона Краузе Тургенев в 1834 году поступил на словесный факультет Московского университета, где, однако, пробыл недолго, и в следующем году перешел в Петербургский университет, опять словесником. За время пребывания Тургенева в Москве студентом умер его отец, истощенный долгой и мучительной болезнью – результатом барских излишеств. Неизвестно, что собственно заставило Тургенева перейти в Петербург, так как мать его поселилась после смерти мужа в Москве. Всего вероятнее, что юного студента привлекала та свобода, которой он пользовался, живя вне семьи.

Положение Петербургского университета в научном отношении было в то время далеко не блестящее. Кроме ректора П.А. Плетнева, литератора, друга и соредактора Пушкина по “Современнику”, ни один из профессоров не пользовался известностью. Лекции обыкновенно читались по русскому, а всего чаще по немецкому учебнику, предварительно рассмотренному начальством и тщательно цензурированному. По учебнику составлялись жиденькие конспекты, зубрением которых и занимались студенты перед экзаменами. Наука была не в аванже как среди учащихся, так и среди учащихся. Последние, в большинстве случаев обеспеченные баричи, вели жизнь рассеянную, полную нездоровых удовольствий вроде кутежей, карт и т. д. Несмотря, однако, на то, что Петербургский университет дал Тургеневу очень мало в любом отношении, мы остановимся ненадолго на некоторых из его преподавателей.

Плетнев, читавший словесность, несмотря на отсутствие больших сведений, имел, однако, влияние на молодежь, так как искренне любил свой предмет.

“Он обладал, – рассказывает Тургенев в своих воспоминаниях, – несколько робким, но чистым и тонким вкусом и говорил просто, ясно, не без теплоты. Главное: он умел сообщать своим слушателям те симпатии, которыми сам был исполнен – умел заинтересовать их... Притом его как человека, прикосновенного к знаменитой литературной плеяде, как друга Пушкина, Жуковского, Баратынского, Гоголя, как лицо, которому Пушкин посвятил своего “Онегина”, окружал в наших глазах ореол. Все мы наизусть знали стихи: “Не мысли гордый свет забавить”, и т. д. И действительно, Петр Александрович походил на портрет, набросанный поэтом; это не был обычный комплимент, которыми так часто украшаются посвящения. Кто знал Плетнева, не мог не признать в нем

Души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и красоты.

Он принадлежал к эпохе, ныне безвозвратно прошедшей; был наставник старого времени, словесник, не ученый, но по-своему – мудрый”.

Как мы сейчас это увидим, благодаря Плетневу Тургенев завязал некоторые литературные знакомства и даже впервые выступил в печати. Философию читал Фишер, известный тем, что не называл Руссо иначе как “надменным женевским гражданином” и что, по поручению начальства, составил “обезвреженный” учебник естественного права. По мнению того же Фишера, “Монтескье впускал по капле незаметный яд в умы многочисленных читателей, усиливая в них суетное желание нововведения”. Во всех произведениях “надменного женевского гражданина” Фишер нашел только одни замечательные слова, а именно: “Правление столь совершенное (демократия) не годится для людей”. Читатель видит, что Фишер твердо держался курса николаевской эпохи и не столько думал о науке, сколько о дезинфекции юных умов от тлетворного и суетного желания нововведений. На кафедрах истории Тур-

гениев застал Куторгу, в то время молодого, только что вернувшегося из Германии ученого, горячего поклонника критической школы Нибура; Шульгина, читавшего бледно и тускло; Устрялова, приводившего в своих лекциях факты преимущественно патриотического характера; и одно время Гоголя, вообразившего почему-то себя человеком науки. “Преподавание Гоголя, – пишет Тургенев, – правду сказать, происходило оригинальным образом. Во-первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две; во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре, он не говорил, а шептал что-то весьма несвязное, показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран, и все время ужасно конфузился. Мы все были убеждены, что он ничего не смыслит в истории... Нет сомнения, что он сам хорошо понимал весь комизм и всю неловкость своего положения: он в том же году (1835 г.) подал в отставку”. Из лекций своих профессоров-классиков Тургенев вынес настолько мало, что впоследствии в Берлине ему пришлось начинать с грамматики.

Ничего яркого, интересного нет в университетских впечатлениях Тургенева, стоит остановиться лишь на его отношениях к Плетневу. Со студентами, надо заметить, Плетнев держал себя просто, по-отечески, так что они доверяли ему даже свои первые литературные опыты. Это же сделал и Тургенев. “Я, – рассказывает он, – представил на рассмотрение Плетневу один из первых плодов моей музыки, как говорилось в старину, – фантастическую драму в пятистопных ямбах “Отец”. В одну из следующих лекций Петр Александрович, не называя меня по имени, разобрал с обычным своим добродушием это совершенно нелепое произведение, в котором с детской неумелостью выражалось рабское подражание “Манфреду”. Выходя из здания университета и увидав меня на улице, он подозвал меня к себе и отечески пожурил меня, впрочем, однако, заметил, что во мне *что-то* есть. Эти два слова возбудили во мне смелость отнести к нему несколько стихотворений; он выбрал из них два и год спустя напечатал их в “Современнике”. Тургенев бывал даже на литературных вечерах у Плетнева и встречал здесь писателей, впрочем второстепенных, за исключением Кольцова. Мимоходом он видел и Пушкина, и вот строки, где он говорит о тогдашнем своем отношении к великому поэту: “Пушкин был в эту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога. Мы действительно поклонялись ему” – и это свое поклонение Тургенев, как известно, сохранил на всю жизнь.

Литературные знакомства Тургенева за время его студенчества были случайны и мимолетны: несколько задушевных разговоров с Плетневым, несколько фраз, которыми он обменялся с Кольцовым, несколько восторженных взглядов на “полубога” Пушкина – этим исчерпываются литературные впечатления будущего писателя. Ближе чем с писателями сходилась он со светскими людьми, в чьи гостиные он имел свободный доступ как богатый и родовитый юноша. Но влечение к литературе он несомненно чувствовал уже и в настоящее время, сам пробовал свои силы в стихах и старательно изучал в подлиннике лучшие произведения иностранных авторов – Байрона, Шекспира и Сервантеса по преимуществу. Каждое лето он проводил у матери в Спасском, обновляя свои “крепостнические” впечатления, много читал, охотился, забираясь иногда в лес на целые дни с ружьем за плечами.

На его месте можно было быть счастливым, если бы не какая-то духота, которая пронизала собою атмосферу той эпохи. Эту духоту ощущали все молодые даровитые люди тридцатых годов, оттого-то так и рвались тогда за границу, хотя получение паспорта было целой историей и стоило больших денег (500 рублей серебром). Но хотелось узнать другую, здоровую жизнь, а главное – не хотелось видеть этой окружающей суровой жизни. На самом деле, невеселая картина открывалась тогда наблюдателю: “На улице тебе попадалась фигура господина Булгарина или друга его, господина Греча; генерал и даже не начальник, а так просто генерал оборвет или, что еще хуже, поощрит тебя... Носятся слухи о закрытии университетов, вскоре потом сведенных на трехсотенный комплект, поездки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно висит надо

всем так называемым ученым литературным ведомством, а тут еще шипят и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общих интересов, страх и приниженность во всех, хоть рукой махни!..” Да, душно было в обществе, где все боялись друг друга и сидели по разным углам напуганные; душно в стенах университета за лекциями, преисполненными страха иудейского; душно в имении, где царил крепостничество. Поневоле люди рвались за границу, где еще недавно раздавались гордые песни Байрона, где только что была создана грандиозная философская система Гегеля, властно подчинявшая себе умы, где с кафедр и трибун слышались высокие, а подчас и великие слова. Прибавьте к этому любознательность молодости, сознание недостатков собственного образования и вы увидите, почему Тургенев так рвался за границу, куда и отправился, как только закончил курс в университете, что случилось в 1838 году.

В заключение этой главы скажу несколько слов о литературе 30-х годов. Характеризуя ее, Тургенев пишет:

“Под влиянием особенных случайностей, особенных обстоятельств тогдашней жизни Европы (с 1830 по 1840 год) у нас понемногу сложилось убеждение, конечно справедливое, но в ту эпоху едва ли не рановременное, — убеждение в том, что мы не только великий народ, но что мы — великое, вполне овладевшее собою незыблемо-твердое государство, и что художеству, что поэзии предстоит быть достойными провозвестниками этого величия и этой силы... Явилась целая фаланга людей, бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал общий отпечаток внешности, соответствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском. Люди эти являлись и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, и даже на театральных подмостках (Марлинский, Кукольник, Загоскин, Бенедиктов, Брюллов, Каратыгин и др.). Это вторжение в общественную жизнь того, что мы решились бы назвать *ложно-величавой школой*, продолжалось недолго... Произведения этой школы, проникнутые самоуверенностью, доходившей до самохвальства, посвященные возвеличению России во что бы то ни стало, в самой сущности не имели ничего русского, это были какие-то пространственные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины”.

Эта “барабанная” поэзия, напоминавшая несколько те времена, когда Херасков пел “Россию свободенну, поправленну власть татар и гордость низложенну”, а Державин — Фелицу, встретила, однако, серьезный и даже могучий отпор в самой литературе. Просто удивительно, откуда в то время брались силы, как успевали они проявляться, а между тем этих сил было больше чем когда-либо. В 30-е годы во главе литературы стояли Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Кольцов, Жуковский, Вяземский; как критик в 34-м году начал свою деятельность Белинский; среди молодого поколения уже появились только еще вступающие на литературное поприще Тургенев, Некрасов, Достоевский, Григорович, Гончаров, Островский. Разумеется, с такими гигантами не под силу было справиться “барабанной” поэзии, и ее ложные боги вроде Бенедиктова, Языкова, Бестужева-Марлинского стали быстро падать один за другим: каждая статья Белинского вычеркивала кого-нибудь из списка кумиров и усаживала его не жердочку, подчас очень скромную. Чем дальше, тем больше. Около сороковых годов жизнь из-под туго придавленных клапанов стала прорываться сильнее. Во всей России произошла едва уловимая перемена, — та перемена, по которой врач замечает прежде отчета и понимания, что в болезни есть поворот к лучшему, что силы очень слабы, но, кажется, поднялись. Где-то внутри, в невидимом нравственном мире, повеял новый воздух, более тревожный, но и более здоровый. Наружно все было спокойно, но что-то пробу-

дилось в сознании, в совести – какое-то чувство неловкости, неудовольствия... Две батареи выдвинулись скоро. Периодическая литература делается пропагандистской, во главе ее становится в полном расцвете молодых сил Белинский. Университетские кафедры превращаются в налои, лекции – в проповеди, личность Грановского, окруженного молодыми доцентами, выдается все больше и больше. Вдруг еще взрыв смеха. Странного смеха, страшного смеха, смеха судорожного, в котором были и стыд, и угрызения совести, словом – смеха Гоголя. Нелепый, уродливый, узкий мир “Мертвых душ” не вынес, осел и стал отодвигаться. А проповедь шла сильней... все одна проповедь... и смех, и плач, и книга, и речь, и Гоголь, и история – все звало людей к осознанию своего положения; все напоминало об ужасах крепостного права, все указывало на науку и образование, на очищение мысли от всего традиционного хлама, на свободу совести и разума.

Особенно тормозил Белинский, тормозил и старых, и молодых, больше, разумеется, последних. Юные барины, вырвавшиеся из своих дворянских гнезд, сначала возмущались им, а потом читали и зачитывались. Сам Тургенев на себе вынес это.

“Я, – пишет он, – не хуже других упивался стихами Бенедиктова, знал много наизусть, восторгался “Утесом”, “Горами” и даже “Матильдой” на жеребце, гордившейся “усестом красивым и плотным”. Вот в одно утро зашел ко мне студент-товарищ и с негодованием сообщил мне, что в кондитерской Беранжэ появился номер “Телескопа” со статьей Белинского, в которой этот “критикан” осмеливался заносить руку на наш общий идол, на Бенедиктова. Я немедленно отправился к Беранжэ, прочел всю статью от доски до доски – и, разумеется, также воспылал негодованием. Но – странное дело! – и во время чтения, и после, к собственному своему изумлению и даже досаде, что-то во мне невольно соглашалось с “критиканом”, находило его доводы убедительными... неотразимыми. Я стыдился этого уж точно неожиданного впечатления; я старался заглушить в себе этот внутренний голос; в кругу приятелей я с большей еще резкостью отзывался о самом Белинском и об его статье... но в глубине души что-то продолжало шептать и мне, что *он был прав*,... Прошло несколько времени – и я уже не читал Бенедиктова. Кому же не известно теперь, что мнения, высказанные тогда Белинским, – мнения, казавшиеся дерзкой новизной, стали всеми принятым общим местом”.

Итак, перед нами два направления – “ложновеличавое” и “критическое”. В первом лагере находились дарования средней руки, во втором – истинные гении, как Гоголь и Лермонтов, и такая прекрасная, детски чистая душа, как Белинский. На чью сторону встать? Этот вопрос не мог не задать себе юноша, решавшийся выступить на литературное поприще в ту эпоху. Воспевать ли *россов* или указывать *русским* людям их косность, невежество, жестокость; защищать ли ликующий шовинизм или опровергать знаменитую формулу: “Все благополучно, и града в вверенном мне уезде, согласно приказанию Вашества, не было...”

Мы увидим скоро мотивы, заставившие Тургенева примкнуть к “критикам”.

ГЛАВА II. ЗА ГРАНИЦЕЙ. – СОРОКОВЫЕ ГОДЫ. – ТУРГЕНЕВ И БЕЛИНСКИЙ

Я говорил уже о причинах, заставлявших Тургенева рваться за границу. Однако осуществить страстное намерение было нелегко. Недостатка в средствах не ощущалось, но В.П. Тургенева как раз к этому времени переселилась в Петербург и не имела ни малейшего желания отпускать от себя, да еще в такую даль, своего любимого сына, тем более что со старшим, Николаем, она только что рассорилась из-за его женитьбы. Но все же Тургеневу удалось добиться согласия матери на поездку, и после долгих сборов в назначенный день он сел на пароход “Николай I”, отправлявшийся в Любек. Нечего и говорить о его радости. Двадцати лет от роду, молодой, здоровый, богатый, ничем не связанный в жизни, он ехал в столицу европейской мысли, туда, где была ключом “чистейшая эссенция философии”, словом – в Берлин. По дороге Тургенев едва не погиб, так как пароход сгорел на море, и пассажиры с трудом высадились на берег в шлюпках. Этот эпизод послужил темой для прелестного рассказа Тургенева “Пожар на море”, написанного им за месяц до смерти в 1883 году, и для кое-каких литературных сплетен, изображавших Тургенева в комическом виде. Но на этих сплетнях, по их незначительности, останавливаться мы не будем.

В Берлине Тургенев в два приезда пробыл около двух лет. Из числа русских, слушавших университетские лекции, особенно близко сошелся он с Грановским и Станкевичем, которые, как всякий это знает, оба были горячими западниками, а несколько позже – с М. Бакуниным, ярким гегельянцем и даже пророком гегельянства в России. Сам он занимался философией, древними языками, историей и с особенным рвением изучал Гегеля под руководством профессора Вердера. Под влиянием впечатлений заграничной жизни он стал ярким западником. Западничеству – заметим это кстати – суждено было сыграть в его жизни существеннейшую роль. За западничество он подвергался бесчисленным нападкам, выносил даже ненависть; за западничество его же возносили, забрасывая похвалами; сам он видел в западничестве красную нить своей умственной жизни; во имя его он создал своего Потугина, он вдохновлялся им, сочиняя резкие тирады против добродетелей и дарований, якобы исключительно присущих русскому народу.

Мы еще вернемся к смыслу западничества в его противопоставлении славянофильству, пока же будем продолжать наш рассказ.

В Берлине Тургеневу жилось весело и хорошо. Известно, что никогда: ни раньше, ни позже, – русская интеллигентная молодежь не занималась так много разговорами и словопрениями, как в период тридцатых и сороковых годов. Возле разговоров сосредоточивались зачастую весь смысл и интересы бытия. Затрагивались и решались *tant bien, que mal*¹ огромнейшие и отвлеченнейшие вопросы о Боге, бессмертии души, особенностях народов, назначении человека, правах и обязанностях личности. Все даровитые люди отличались поразительной словоохотливостью и пристрастием к спорам. Споры продолжались целыми днями и ночами, а иногда и сутками – без перерыва! – тянулись же неделями и месяцами. Много тут было, разумеется, комического, ненужного, напоминавшего лепет ребенка, только что научившегося говорить и лепечущего без усталости обо всем; много и важного, интересного, так как во время прений слагались убеждения, которым люди оставались верными порою в течение всей своей жизни. Разговорами отводили душу, тем более что все вело к разговорам. Мерзость настоящего, неопределенность будущего, отсутствие какого бы то ни было жизненного дела, полная материальная обеспеченность лучших интеллигентов того времени

¹ Кое-как, с грехом пополам (фр.).

(за исключением Белинского), изобилие шампанского, без которого не обходилась ни одна вечеринка, потребность свободы, хотя бы только у себя в дружеском кружке, сама легкость разговора, основывавшегося не на фактах, а на принципах и аксиомах гегелевской философии, – все это вдохновляло, горячило, делало слово, спор сущностью жизни, ее прелестью и красотой. Нет, мы даже не умеем говорить так искренно, с таким увлечением, как наши деды, нам совестно было бы говорить так много, с таким азартом, как 50 лет тому назад. Но перенеситесь в ту эпоху и вы увидите, что нельзя было не говорить, надо было говорить, чтобы хотя на минуту отвести душу. Вот Бакунин развалился на диване и занял его весь своей огромной фигурой; он гремит своим раскатистым голосом, наизусть цитирует целые страницы из Гегеля, не задумываясь решает великие и малые вопросы; что-то богатырское есть в его фигуре, голосе, жестах; где-нибудь у окна присел тихий прекрасный Станкевич, с доброй улыбкой на больном лице, с восторженными глазами; он ждет минуты, чтобы вставить свое задушевное слово; вот и сам Тургенев, тоже гигант ростом и умом, но тогда еще ученик, покорно выслушивающий поучения старших; Грановский со своим задумчивым, рассеянным взглядом, с изящной речью, серебристым подкупающим голосом. Пройдет немного лет, и за теми же разговорами мы застанем новых лиц, хотя и не увидим уже прекрасного лица Станкевича и не услышим больше его задушевного голоса. Сверкая глазами и бегая из угла в угол по комнате, будет волноваться Белинский и нападать с комической яростью на баричей, вроде Тургенева, за их безделье, за привязанность к чистой красоте и, размахивая руками, кричать своим тонким голоском, волнуясь и спеша. Небольшая, вся созданная из мускулов и нервов фигура Герцена займет центральное место. Его речь, “дьявольски умная” (как говорит Белинский), полная острот, неожиданных сопоставлений, обаяния огромного отточенного ума, составит эпоху в этих разговорах и поведет за собою многих и многих из слушающих его. Он заставит робких людей (как Грановский, Кавелин) еще глубже уйти в себя, но он вызовет к жизни все деятельное, энергичное, и море слов перестанет так бесцельно волноваться и шуметь. Проследите эти разговоры и вы найдете в них тридцатые годы с их романтизмом и культом Гегеля, сороковые с их народничеством, а в лице Герцена, Некрасова перед вами предстанет первый образ шестидесятых рабочих годов... В Берлине, повторяю, Тургеневу жилось хорошо, весело. В семействе Фроловых часто собирались русские студенты и встречали здесь всегда ласковый, задушевный прием. Сам Тургенев поселился на квартире с одним из своих русских товарищей, увлеченных по моде того времени Гегелем до мозга костей. Товарищ заставлял его штудировать философию и отечески следил за его нравственностью.

Так прошли два года, за время которых случилось только одно поистине грустное событие – смерть Станкевича. Вот что писал по этому поводу Тургенев Грановскому: “Нас постигло великое несчастье, Грановский. Едва я могу собраться с силами писать. Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждой. 24 июня в Нови скончался Станкевич. Я бы мог, я бы должен здесь кончить письмо. Что остается мне сказать? К чему вам теперь мои слова? Не для вас, более для меня продолжаю я письмо: я сблизился с ним в Риме, я его видел каждый день и начал оценивать его светлый ум, теплое сердце, всю прелесть его души. Тень близкой смерти уже тогда лежала на нем... Я оглядываюсь, ищу напрасно. Кто из нашего поколения может заменить нашу потерю?... Кто достойней примет от умершего завещание его великих мыслей и не даст погибнуть его влиянию, будет идти по его дороге, в его духе, с его силой?... Но нет, мы не должны унывать и преклоняться. Сойдемтесь – дадим друг другу руки, станем теснее: один из нас упал, быть может лучший. Но возникают, возникнут другие: рука Бога не перестает сеять в души зародыши великих стремлений, и рано или поздно свет победит тьму”.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.